



ПОЛИТИЯ

И.И.Глебова

ОСОБЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ключевые слова: революция, исторический выбор, власть, общество, массовые движения, свобода, большевизм

¹ Это новая официальная формула событий 1917—1921 гг., представленная в Историко-культурном стандарте 2013 г., наделавшем много шума. В ее основе — не просто историографическая отсылка к Великой французской революции (республиканскому мифу о ней), но попытка подогнать русскую революцию под европейскую «норму».

² 1861 г. породил 1905-й, 1905 г. — «генеральная репетиция» 1917-го; 1914—1916 гг. — мировая война и романовско-распутинское разложение и т.п.

Когда революция не заканчивается

³ См. Пивоваров 2015: 32.

2017 год в России проходит под знаком революции. Она, конечно, не «триумфально шествует» (так когда-то характеризовали процесс утверждения советской власти), но присутствует в публичном пространстве: о ней говорят. В России вообще вспоминают юбилеями — это традиция (история революции активнее всего обсуждалась в 1927, 1957, 1987, 1997 гг.), а тут еще магия даты — 100-летие требует воспоминаний. И главная юбилейная интонация — именно воспомятельная: 1917 год — наше прошлое. Разговоры о революции — в основном ретроспективные; их ведут историки — о причинах и мотивах, ходе и «выходе», вине и ошибках.

Главный итог юбилейного года видится мне в том, что Россия оказалась неспособна вырваться из плена Октября. Наша революция теперь уже навсегда останется Октябрьской; когда рассуждают о Великой русской революции¹, имеют в виду именно Октябрь. Февраль по-прежнему в тени — малопонятен, малоинтересен; царская Россия — лишь исторический материал для выстраивания логики революции². В этом смысле юбилейные «разговоры» сливаются в какой-то новый извод истории КПСС. Да, конечно, современная Россия ведет свое происхождение от Октября. Тогда родились современное государство и общество; XX и даже начало XXI в. определены последствиями той революции. Однако связывать с этой датой весь возвеличивающий и оправдательный пафос юбилея — значит не понимать ни сути происходившего, ни исторического влияния Октября.

Революционный год (от февраля 1917 до января 1918 г., то есть от «медовой», по определению Зинаиды Гиппиус, февральско-мартовской революции до разгона Учредительного собрания — именно тогда, как полагает Юрий Пивоваров, и победил Октябрь³) оказался для России временем исторического выбора: какой будет страна, кто, какие силы станут направлять ее историю. Структура гражданской войны, из которой вышла совсем другая страна (уже не царская и не февральская), определилась тогда.

В западной прессе после Февраля 1917 г. писали о противостоянии двух России — России новой, патриотической (Думы, армии и народа) и России дворян и реакционеров из всех сословий (старой). Ничего подобного не было — ни этих России, ни противостояния. Страна ответила

на Февральскую революцию атмосферой эйфории (охватившей прежде всего столицу и крупные города) и общенациональной готовности к переменам.

⁴ *Россия 2015: 193.*

⁵ *Там же: 32—33.*

⁶ *Там же: 33.*

NB! Многочисленные описания революции (первых дней «свободы»), по существу, иллюстрируют лаконичную формулу современника: «радостное, „весеннее“ возбуждение»⁴. Емкость (второй план) придают ей следующие свидетельства. В провинции известия о событиях в Петрограде, полученные 1—2 марта, особенного впечатления на население не произвели; настроение было безучастным и сдержанно-любопытным⁵. Именно в этом современники видели необычный характер революции: «Все ждали, что будет, и не выражали сочувствия ни той, ни другой стороне. Никто не только не пожелал выступить в защиту правительства, но... не выразил даже сожаления о падении его». Не было ничего, что говорило бы «о возможности движения провинции против Петрограда»⁶. Чем дальше от центра, тем сильнее были выражены эти настроения.

Однако с ликвидацией старой власти («старого режима») революция не остановилась. Напротив, шла эскалация революционного процесса. Страна все больше разворачивалась к гражданской войне, внутренне на нее настраивалась, в нее втягивалась. Август-сентябрь 1917 г. — пик этой эскалации. Россия балансировала на грани. Нужен был только толчок, чтобы сорваться.

⁷ *О структуре русской революции см. Пивоваров 2015: 27—44.*

Тут возникает вопрос: почему? Как мне представляется, одна из причин в том, что революционный процесс, который нашел разрядку в Феврале 17-го, был не единственным. Это соединение и конфликт принципиально разных движений — февральского демократического, народных (историки говорят об общинной революции 1917—1918 гг., но сюда следует отнести и процессы в городе, прежде всего в Петрограде) и большевистского⁷. Каждое из этих движений имело целью перестроить («пересоздать») Россию. Другими словами, революция была сложным, многосоставным (в социальном и культурном отношении) явлением, сразу вышедшим за рамки политики. Этим обусловлены ее особый облик, стиль, последствия.

Об истоках и предпосылках Февральской революции

Февраль был первым из исторических выборов 1917 г. Во многом эта революция была реакцией России на мировую войну — следствием вызванных ею социальных проблем, надлома культуры, брожения умов и пр. В то же время она имела долгую историю, поставив точку в по крайней мере столетнем споре власти и общества о том, какой быть России. То есть при всей необязательности и исторической «ненужности» Февраль 17-го был неслучаен.

Так завершилось историческое противостояние «образованного меньшинства» с породившей его (когда-то) властью (напрашиваются

аналогии с конфликтами «отец—сыновья», «учитель—ученики»). В результате долгой культурной эволюции (отбора, воспитания, накопления культуры) в России к началу XX в. появилось общество, имевшее немало черт гражданского. Оно не только прошло пору ученичества (прямого следования за европейской культурой), но и преодолело детскую зависимость от власти — выросло из той системы отношений, которые та выстроила и где желала быть всем.

NB! Мы привыкли считать тех, кто его составлял, малоэффективными, неопытными, неврастеничными хлюпиками, посредственностями, историческими неудачниками. Это взгляд в перспективе поражения: раз проиграли — значит, «лузеры», не заслуживающие ни понимания, ни снисхождения. Здесь чувствуется ленинское: «интеллигенция — это говно нации». Эти оценки не вытравить ни из простого обывателя, ни из профессионального исследователя. Они, однако, характеризуют нас, нынешних, а не русское общество начала XX в. Ничего лучше (мощнее, разнообразнее, образованнее, опытнее и результативнее) в нашей истории не было. Наше же к нему отношение похоже на то, как оно само воспринимало «николаевское самодержавие».

Русское общество, с которым (и через которое) Россия вошла в XX в., было во всех отношениях модерным. Ему свойственны тоска по обновлению, неутомимые искания «новой правды», новой веры, новых ценностей и ориентиров, оно заряжено на социальное творчество. В нем жил дух бунтарства; поиск, эксперимент и т.п. — естественный способ его существования, самореализации; его время — современность/будущее, а не настоящее/прошлое. Оно было до крайности самоуверенно, победно — и хорошо сознавало это, отказывая в каких-либо перспективах самодержавию.

Если общество уверовало в собственную сверхполноценность, наращивая тщеславие и готовясь «делать карьеру» в истории, то власть погрязла в комплексах неполноценности, остро переживая свою «неудачливость». Она «состарилась», истощила запас творческой (как консервативной, охранительной, насильственно-репрессивной, так и модернизационной, преобразовательной) энергии. Ее будущее было отягощено прошлым; власть перестала побеждать, усваивала роль жертвы, была обречена отступать под общественным натиском со всех сторон (даже изнутри — со стороны нового двора, бюрократии, генералитета).

Этим в значительной мере объясняется тот факт, что самодержавие, долгое время бывшее в России «единственным европейцем», консерватором и реформатором в одном лице, во многом утратило свои модернизаторские функции. Оно лишилось монополии на революционизм (эпоха перестроек России в формате монархических революций сверху закончилась), растеряло этос социального творчества. Пространство, традиционно принадлежавшее власти, неуклонно сокращалось (политические

контрреформы конца XIX и начала XX в. были попыткой затормозить этот процесс административно-репрессивными средствами). Функции социального переустройства перехватило общество. В стремлении подчеркнуть свою новую социально-творческую, развивающую роль оно присвоило власти статус реакционера, чего-то отжившего (пережитого Россией), олицетворявшего «темное» прошлое и туда тянувшее. Тем самым радикально менялся традиционный расклад сил наверху.

Эта трансформация должна была получить внешнее, формальное выражение. Борьба общества с властью была борьбой за новые формы, создающие благоприятную рамку для дальнейшего обновления страны. Отчетливее всего это демонстрирует сфера политики — собственно, ее появление служило показателем перемен, ее люди были авангардом модернизации. Новые политические элиты обладали силой и решимостью играть самостоятельную роль и определять социальные ориентиры. Они не просто стремились к расширению поля своей деятельности, но требовали тотального, принципиального изменения (осовременивания по европейским образцам) оснований элитобразования, воспроизводства власти. Поэтому в России оказались одинаково возможны как масштабные реформы, так и революционная ломка старой системы.

В этом — и только в этом — смысле модернизовавшиеся элиты противостояли самодержавию, отмежевывались от него. Только в этом смысле власть и была им чужда. В остальном тогдашняя монархия была соразмерна современному ей обществу — она принадлежала к верхнему культурному слою (России европеизированных, образованных «верхов»), генетически связывая его с «Европой избранных». Более того, по своим внутренним параметрам (соотношению либерального и насильственно-эксплуатационного, то есть собственно «руссковластного», компонентов) самодержавие начала XX в. гораздо ближе к европейским «родственникам», чем к собственным «прародителям» (из XVI, XVIII и даже XIX в.).

К началу XX в. русская власть обрела то качество, которое не позволяло ей сделать систематический террор средством удержания своего господства. Многие (из прежнего) стало для нее невозможно, недопустимо. В России это принято считать слабостью, для власти непозволительной и преступной. Мне же представляется, что в этом заключалась ее сила. Гуманизация («очеловечивание», демократизация) — мера исторической эволюции русской власти; благодаря ей она могла бы вписаться в новые времена.

NB! Гуманизация — это и есть путь ограничения власти. Известное самоопределение Николая II — «Хозяин земли русской» — вовсе не утверждение идеала самовластия в духе Иоанна Грозного («А жаловати есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же»⁸) или Петра Великого («поднять Россию на дыбы»... и на дыбу). Времена настали другие; изменилось общество — поменялась власть. Именно тогда ее и убрали. Это главный вопрос, поставленный революцией:

⁸ *Первое послание*
1986: 34—35.

почему мы терпим власть насильничающую, а не насильничающую не любим, порочим, презираем, свергаем? Неужели именно первая нам «социально близка»? Но если так, то что же мы за общество, чего хотим?

Самоограничение власти в 1905 г. было естественным следствием длительной эволюции, в ходе которой «взросло» общество и растратился силовой, полицейский (то есть собственно кратократический⁹) властный потенциал. У этой эволюции были шансы продолжиться.

⁹ Обратим внимание на этимологию греческого слова «*kratos*»: изначально оно обозначало прежде всего силу (как способность одолеть в борьбе), а позднее приобрело значение власти и управления (Сергеев 1999: 12).

Мировая война обострила все старые проблемы страны и породила новые. Она изменила русское общество — чрезвычайно раздражила и ожесточила его, сделав одновременно избирательно легковерным и утопическим. Иначе говоря, она явилась первым пунктом в повестке русской революции. Именно под влиянием (давлением) войны образованный обыватель к концу 1916 г. окончательно свыкся с идеей смены действующей власти. «Страна полна слухов, которые показывают полное падение доверия к управительным способностям Государя и какое-то прямо *желание* переворота. В перевороте видят единственный способ уничтожить измену... — фиксировал в дневнике Лев Тихомиров, тонкий бытописатель и «социолог» того времени. — Пожалуй, и народ, и армия в общем *за него* (за императора — *И.Г.*), но очень условно, а именно не веря его способности управлять и даже вырваться из сетей „измены“. Ну при таком настроении весьма возможна мысль — вырвать его силой из рук „измены“ и дать ему других „помощников“... И это — вовсе не настроение одних „революционеров“, не „интеллигенции“ даже, а какой-то огромной массы обывателей... Теперь против Царя — в смысле полного неверия в него — множество самых обычных „обывателей“, даже тех, которые в 1905 г. были монархистами, правыми и... стояли против революции»¹⁰.

¹⁰ Дневник 2008: 331.

Так проявлялись ставшие всеобщими трагическое ощущение невозможности больше жить в войне (войной), потребность сбросить ее чудовищное напряжение. Революция должна была встряхнуть, радикально изменить жизнь — конечно, к лучшему. По существу, и общество (гражданское и политическое), и обычный обыватель (а в войну «обыватель» торжествовал над «гражданином») были и не то чтобы против Николая, властей, но против войны, желали выйти из нее — как угодно. Такой выход и увидели в революции. В то, что войну можно закончить военным путем (сражаясь), зимой 1916—1917 гг., похоже, не верил никто (кроме царя и военного руководства), а вот в революцию — как желанное будущее, альтернативу войне — поверили. При этом переворот представлялся актом, направленным против «измены», которая якобы мешала России победить.

Парадокс: антивоенная, по сути, революция имела имидж (а отчасти и являлась) военно-патриотической, была революцией во имя победы — так ее мыслили общественники. Но главное, едва ли не всем казалось, что это путь в нормальную жизнь, возвращение к нормальности. А вот народу

(рабочим, солдатам, крестьянам) революция была интересна как возможность «прикончить» войну, переключиться на внутреннего врага. Об этом настрое, «бессмысленном и беспощадном», свидетельствовал осенью 1916 г. тот же Тихомиров: «...в народе называют самые бесшабашные бунтовские инстинкты и грозят реками крови»¹¹.

¹¹ Там же: 314.

Февраль 1917 г. было бы неверно ограничивать событийной («технической») частью. Ему предшествовала революция сознания. Февралисты — это прежде всего думские, кабинетные, салонные революционеры, которые по мере углубления войны все больше превращались в трибунов. Через тексты, выступления, беседы, встречи и т.п. они готовили страну к Февралю, формировали в умах установку на революцию, становились ее глашатаями.

Казалось бы, и революция действия должна была быть во всех отношениях общественной — по целям, движущим силам и методам, по итогам. Но Февраль 1917 г. неожиданно для всех (царя, политиков, бюрократии, полиции) оказался многосоставным событием, где сошлись разные социальные темы, требования, переживания, движения. Успех же петроградской революции обеспечило соединение протестного творчества масс («восстания») с политической волей элит, выстроивших новую власть (альтернативу старой). Новизна, демонстративные (до нарочитости) демократизм и народность были ее преимуществами перед николаевским самодержавием.

Мировая война началась и закончилась¹² всплесками социального единства, для России вообще-то не характерного. В августе 1914 г., как и в феврале 1917-го, на исторической сцене действовал народ. Только войну он встретил патриотическим, милитарным, самодержавным, а в революции был антивоенным и антивластным. На короткий миг Февраль объединил то, что столетиями сцепляла монархия: два враждебных склада русской жизни, две субкультуры — «верхнюю» (интеллигентскую, европеизированную, давшую России тип современного человека) и «низовую» (традиционалистскую, архаичную, взбудораженную и раздраженную модернизационными экспериментами «верхов» на рубеже XIX—XX вв. — просто потому, что они означали вторжение в ее жизнь, изменение ее внутреннего строя, ее органики), определявшую бытие основной массы народонаселения. Потому и стал подлинно народной революцией.

¹² Я полагаю, что Февраль 17-го поставил для России точку в той исторической эпопее; усталость от войны, напряженное ожидание ее окончания разрядились в революции (подробнее см. Глебова 2014).

Иначе говоря, революция — как идея и социальная практика — объединила простой народ и интеллигенцию, светско-политическую часть общества и церковь и т.п. Сообща они и скинули с себя историческую скрепу: русская монархия пала. Не ушла, а именно пала — под общим натиском общества и народа. Монарха свергли, династическая линия во власти не продолжилась. Одни считают это главным историческим достижением, другие — грехом (преступлением) Февраля. В любом случае Февраль создал другую страну; она родилась буквально в день отречения Николая II.

Утопия у власти¹³

¹³ Название книги Михаила Геллера и Александра Некрича — одного из лучших исследований советской эпохи. На мой взгляд, эта метафора в равной мере подходит и февралистам. Они полагали себя реалистами, старавшимися чуть «подтянуть» Россию к европейской норме («уравнять» с Европой), но как практики власти были совершенными революционерами: пытались рвануть страну из (проклятого) прошлого в (счастлирое) будущее и в воплощении демократического идеала далеко опередили тогдашнюю Европу.

¹⁴ См. Колоницкий 2001: 326.

¹⁵ Сообщая на митинге в Таврическом дворце 2 марта 1917 г. об образовании Временного правительства, Павел Миллюков в ответ на вопрос: «Кто вас выбрал?» — воскликнул: «Нас выбрала русская революция» (Степанский, Миллер (ред.) 1996: 155—156).

Февраль 1917 г. — пик эмансипационного процесса, продолжавшегося в России с Великих реформ 1860—1870-х годов (одна из возможных радикальных на него реакций). Деятели этой революции принадлежали к русскому освободительному движению, претворяли в жизнь его идеалы. Они представляли ту современную (модерную) Россию, которая появилась, набрала силы и вполне определилась в недрах старого порядка (того, что она полагала старым порядком). Казалось, она и поведет страну в XX столетие. Победив, лидеры Февраля стали строить новую Россию — по своему образу и подобию. Но как раз это и не удалось — в качестве творцов нового мира они потерпели поражение.

Февраль подвела тотальность победы. В отличие от революции 1905 г., где возобладал компромисс (власть и общество пошли на взаимное самоограничение), в феврале 1917 г. «организованная общественность» полностью и окончательно уничтожила «самодержавие».

NB! Я беру это слово в кавычки: после революции 1905 г. определять русскую монархию как самодержавную уже неверно. Ошибка всех исследователей революции в том, что монархия и бюрократия устойчиво и последовательно исключаются из эмансипационного процесса. При этом весь негатив истории русской свободы списывается на них. Основы данной традиции заложили февралисты (так их новая Россия наращивала субъектность). Но вот интересный факт. Выбирая для себя прошлое, общенациональные праздники, они остановились на следующих датах: 19 февраля — день освобождения крестьян от крепостной зависимости; 17 октября — «день установления в Российском Государстве первого конституционного строя»; 27 февраля — «в память Великой Российской революции, когда сам народ в лице Исполнительного комитета Государственной думы взял власть в свои руки»¹⁴. Здесь февралисты адекватны исторической реальности: монархия — фигурант освободительной традиции.

Из политики были исключены все силы, не связанные происхождением с освободительным движением/традицией (те, что правее кадетов), — как «контрреволюционеры». Лидеры Февраля сделали исключительную ставку на новую, революционную легитимность¹⁵. Но она не могла гарантировать устойчивость, стабилизировать революцию; апелляция к ней была связана как раз с социальной радикализацией.

Февральская власть сразу пошла на решительные меры: провозгласила максимально широкую демократизацию, всеобщее избирательное право, «гражданский строй» (общественную самоорганизацию), отменила все «старорежимное», в том числе местную администрацию и полицию, то есть необходимые административные и правозащитные механизмы (возможно, плохие, но традиционные, привычные). Происходила не реконструкция (обновление «здания» — своего рода евроремонт), но полная перестройка системы, настоящая агрессия политической современности.

Россия, истощенная, разложенная и ожесточенная мировой войной, была плохим полигоном для подобного рода экспериментов.

Именно в стремлении реализовать свою утопию, а не в неспособности справиться с упавшей им в руки властью — главная проблема февралистов. Конечно, февральские политики вовсе не желали обрушить страну — они хотели ее только улучшить, осовременить (кстати, таковы же были намерения Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, да и всех других реформаторов от власти — народных освободителей). Однако ускорили процесс не эмансипации, а энтропии, хаоса, распада. «Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?» — в августе 1917 г. задавалась вопросом Гиппиус¹⁶. Русская революция впервые в XX столетии отчетливо продемонстрировала: эмансипационные процессы несут в себе огромные риски; в отсутствие ограничительных рамок негативные тенденции побеждают. Причем происходит это как-то незаметно, исподволь. Вот как вспоминал о послефевральских днях современник, тогда подросток: «...школьная жизнь пошла вкривь и вкось. Не знаю, что было тому причиной: в укладе... дорогого частного учебного заведения ничего не изменилось, кормить продолжали нас прекрасно, прислуга продолжала называть нас, при случае, „барчуками“, никаких митингов... Учителя наши... как и раньше, никак не влияли на нас политически, но... учение и дисциплина разваливались сами собой»¹⁷.

¹⁶ Гиппиус 1999: 545.

¹⁷ Россия 2015: 184.

Великая освободительная революция совершенно неожиданно для ее лидеров пробудила не созидательный энтузиазм, а социальные болезни. Александр Керенский с удивлением указывал на «своеобразнейшее явление революционной эпохи — массовую, болезненную лень»: «Солдаты переставали рыть окопы, нести службу, сражаться. Рабочие переставали работать. Чиновники забывали о своих канцеляриях. Вся деловая, трудовая жизнь огромной страны замирала. Всюду раздавались только бесконечные речи, прения, рассуждения»¹⁸. О том же писал Иван Бунин: «На всем... пространстве России... вдруг обрвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противостественная свобода от всего, чем живо человеческое общество»¹⁹. Февральская революция намеревалась освободить труд²⁰, но привела к освобождению от него.

¹⁸ Цит. по: Гайда 2003: 342.

¹⁹ Бунин 2003: 155.

²⁰ Символично название первой организации русских марксистов: «Освобождение труда».

Граждане новой России превращались из «служащих» (и служивых) — в «белобилетников», из работающих — в безработных (в смысле нежелания тяжело и эффективно работать, утраты этого навыка). В стране распались любые трудовые ассоциации, производственно-технологические и информационно-управленческие структуры, нарушались социальные связи и коммуникации. Сложилась невиданная ранее ситуация: большинство населения вдруг стало балластом — асоциальным элементом, не участвовавшим в создании общественного продукта. Единственная партия, которая могла победить в таком «обществе», — партия освобождения от труда.

Это происходило и в непосредственной близости от власти. Февраль привел не к «пересозданию» государства, а к разложению государственного механизма.

NB! Стремление построить *свое* государство (или, по меньшей мере, перезагрузить его, как компьютер) характерно для всех революций. Утопия февралистов (русской либерально-демократической интеллигенции) требовала *современного* государства, которое соответствовало бы гражданскому обществу, составляло ему пару. Речь, по сути, шла о минимизации властно-бюрократической вертикали — переходе на общественную горизонталь. Это было вызовом национальной традиции и противоречило реалиям тотальной войны.

Государственный механизм попросту разладился: там едва ли не раньше всего воцарились расхлябанность, рассредоточенность, безработность. Служащие «большую часть своего времени заняты словоизвержением в советах или манифестациями на улицах»²¹, — отмечал уже в марте 1917 г. французский посол в России Морис Палеолог. В Военном министерстве, например, началась борьба за шестичасовой рабочий день и шла массовая запись в эсеры²². О результатах этой борьбы вспоминал Александр Гучков: когда понадобилось издать «очень спешный» циркулярный приказ, оказалось, что в Главном управлении Генерального штаба это некому сделать. В пять часов вечера в штабе еще оставались писари, но не было офицеров. «Главное управление Генерального штаба — война идет! Демократические требования [эти офицеры] применяли прежде всего к себе, вместо того чтобы писарям показать пример характера, выдержки. Это был крайний трагизм. Я чувствовал, что все слякотно, все распалзлось»²³. Утрата управленческих навыков, падение организационной культуры не позволяли контролировать сложнейшие социальные процессы, воздействовать на них.

По существу, к концу апреля — началу мая либеральная революция образованной, европейски воспитанной (во всех смыслах) России выполнила свои задачи. Не случайно именно на этот момент приходится первый правительственный кризис; либералы покидают правительство, начинается его «социализация». Революция «двинулась налево», «перебирая» социалистов (от относительно умеренных — до все более и более радикальных). Тогда же обнаружилось, как узок «электорат» Февраля; для того чтобы состояться, этой революции явно не хватало граждан. На исторической сцене стало отчетливо заметно присутствие других исторических сил. От них, а не от либерально-социалистических политиков, культурной публики все больше зависела судьба страны.

NB! Пожалуй, главная тема, открытая для науки этой революцией, — уязвимость демократического устройства, его зависимость от конкретных условий (времени и места), а также вариативность демократий. Выскажу предположение: России начала XX в. более всего

²¹ Палеолог 1991: 449.

²² Гайда 2003: 342—343.

²³ Александр Иванович Гучков 1993: 134.

соответствовал политический режим 1906—1914 гг. — это и была *ее мера* демократии. Послефевральские же свободы оказались для страны чрезмерными (прежде всего культурно, ментально). Проблема Февраля состояла в том, что февралисты (общество, интеллигентный обыватель) эту меру уже превзошли, а большинство народа до нее еще не дозрело.

**«Господин»
петроградской
улицы**

Послефевральская Россия оказалась миром не удовлетворенных, а просыпающихся революционеров, только еще мечтающих о завоеваниях и победах. 1917 год — время не только общественного брожения, но и народного взрыва, целой серии революций: рабочих, солдат, городских низов, мелкого и среднего чиновничества, крестьянства. Происходила массовизация революции, началось всероссийское «восстание масс», которое по своему радикализму было сродни средневековым протестным движениям. Через Февраль Россия выскочила в массовое общество (точнее, оно вышло из революции)²⁴.

Массовые революционные движения имели, конечно, социальные (социально-экономические) причины. В то же время они были следствием процессов, которые развертывались в стране с 60-х годов XIX в., и мировой войны. Однако их главный источник — сама революция. Послефевральский народ — это совсем иная социальная среда («почва»), чем рабочие, солдаты, крестьяне царской России. Народ менялся в ходе революции, в ответ на нее. «Политический радикализм интеллигентских идей»²⁵ соединился с «социальным радикализмом народных инстинктов»²⁵, что дало разрушительный эффект.

Историки много пишут о том, что после Февраля в деревню ринулись дезертиры. Эта взрывоопасная масса, озлобленная и надорванная войной, послужила катализатором «передельной революции», а потом, в Гражданскую, составила основу крестьянского повстанчества. Но резервы народной революции имелись и в больших городах (особенно в тех, где базировались запасные армейские части, — в Петрограде, Казани, Нижнем Новгороде и др.). Их социальное пространство оказалось чрезвычайно засорено — из-за войны и революции там скопилось огромное число практически ничем не занятых людей (беженцев, дезертиров, запасных, профессиональных революционеров). Многие из них были вооружены (не случайно большевики занимались затем всеобщим разоружением народа). Этот социальный потенциал мог быть задействован как угодно и кем угодно.

«Лабораторией» народной революции — местом, где творилась новая социальность, — стали улицы Петрограда. Вот характерная зарисовка, относящаяся к самому началу апреля 1917 г.: «С раннего утра и до поздней ночи улицы города были переполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утеряв прелесть новизны, по сравнению

²⁴ Оно формировалось с эпохи Великих реформ — под влиянием индустриализации, урбанизации. Рождение массовой политики в 1905—1906 гг. придало ему новый импульс, а тотальная война и социальная революция окончательно оформили.

²⁵ Эти слова Петра Струве, произнесенные после революции 1905 г., точно характеризуют и 1917 г. (Струве 1991: 148).

с первыми днями революции, поуменьшилось, но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих. Шелканье семечек в эти дни стало почему-то непрременным занятием „революционного народа“, а так как со времени „свобод“ улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой»²⁶. Это типовое описание Петрограда; с Февраля город стал именно таким. А семечки — знак праздника/праздности, атрибут праздного времяпровождения в деревне.

²⁶ Врангель 1991: 27.

В послевоенных дневниках Карла Шмитта есть такое замечание: «Человек с улицы — господин улицы; это и есть современная демократия»²⁷. В Феврале народ (солдаты, матросы, рабочие, городские низы) и явился как господин петроградской улицы: эмансипировался и почувствовал себя реальной исторической силой. Послефевральское время (до большевиков, до Гражданской войны) — самое для него счастливое. Он — главный бенефициарий, настоящий диктатор 1917 г. (не Керенский, не Ленин, не Троцкий). Сбросив с себя путы «старого мира» (все ограничения, которые тот на него наложил), «господин улицы» освободился от тяжести всяких социальных обязательств, отринул Царя и Бога — стал сам себе хозяином. Он принес в революцию свои желания, свои темы. В конечном счете он и распорядился страной, как умел.

²⁷ Цит. по:
Пивоваров 2004:
283.

«Кучками шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие, — читаем мы в дневнике Гиппиус за август 1917 г. — Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать... это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого»²⁸. Перед нами — бывшие солдаты, бывшая армия, превратившаяся в вооруженную орду. Вид этих солдат-крестьян, «разнузданный и расхлестанный» (так его характеризовали современники), — это политическое заявление, символ поражения, дезертирства. Силами этих людей нельзя было вести войну — во всяком случае с внешним врагом. Народ освободился — от службы, от обязательств и обязанностей (прежде всего в отношении государства/революции и иных подобных абстракций). Показательно: в те дни, когда «новые» петроградцы лузгали семечки, «корпорация» дворников систематически отказывалась от выполнения своих профессиональных функций — убирать, заявляя, что это не их забота.

²⁸ Гиппиус 1999:
535.

У «господина» петроградской улицы появились дела поважнее. «С тех пор, как началась революционная драма, не проходит дня, который не был бы отмечен церемониями, процессиями, представлениями, шествиями, — констатировал Палеолог. — Это — непрерывный ряд манифестаций: торжественных, протеста, поминальных, освятительных, искупительных, погребальных и пр. ...Все общества и корпорации, все группировки — политические, профессиональные, религиозные, этнические — являлись в Совет [рабочих и солдатских депутатов] со своими жалобами и пожеланиями... Таврический сад видел за своей оградой

процессии евреев, мусульман, буддистов, рабочих, работниц, учителей и учительниц, молодых подмастерьев, сирот, глухонемых, акушерок. Была даже манифестация проституток»²⁹.

²⁹ Палеолог 1991: 447—448.

А вот как французский посол описывает одно из таких торжеств (на Марсовом поле 23 марта 1917 г. — в память жертв революции): «Ораторы следуют без конца один за другим, все люди из народа, все в рабочем пиджаке, в солдатской шинели, в крестьянском тулупе, в поповской рясе, в длинном еврейском сюртуке. Они говорят без конца, с крупными жестами... Большинство речей касается социальных реформ и раздела земли. О войне говорят между прочим и как о бедствии, которое скоро кончится братским миром между всеми народами»³⁰. (Собственно, способным услышать, чего хотят эти люди, нетрудно было повести их за собой.) Всего этого было так много, что «кто-то из иностранцев, побывав... в Петрограде, сказал, что русская столица с ее бесконечными митингами, проделками „анархистов“... и т.д. напоминает ему грандиозный дом для сумасшедших»³¹.

³⁰ Там же: 451.

³¹ Петроградская газета. 11.06.1917.

Палеолог относил эти разговоры на счет особой природы русских: для внешнего наблюдателя это было просто выговариванием, одним из видов революционных развлечений. Но речь шла о поиске способов самовыражения — языка, без которого невозможно построить новую идентичность, новую реальность. Причем как вид говоривших, так и качество разговора точно отражали сущность нового (послефевральского) «господина улицы». Он — не демократ, не гражданин. Для него это пустые слова; вообще, язык Февраля не переводим на народный (к примеру, слово «оратор» солдат-крестьянин на фронте и в тылу воспринимал как «оратель» — тот, кто орет, громко говорит). Если использовать понятийный аппарат концепции политической культуры, то для его определения идеально подходит термин «парохиал». Он вне политики (она для него не существует — он не понимает смысла политических действий), локалист (его не интересуют темы и проблемы, непосредственно с ним самим не связанные); он недоверчив (враждебен политике, политикам, государству; доверяет исключительно ближнему кругу, «своим»), нацелен на прямые насильственные действия (считает, что права, власть можно только отнять, захватить, взять силой), политически безответственен (действует «как все» — «миром», «скопом»). И т.п.

Иначе говоря, это не современный политический человек, а победившая архаика, отменяющая политику. Этот «господин улицы» внеположен гражданской политической культуре — и в этом смысле органически враждебен Февралю. Он отрицает идеалы этой революции, они ему недоступны — он до них не «дорос». По сути, именно он — главный контрреволюционер 1917 г. Но он в полной мере воспользовался плодами Февраля — чтобы заявить о себе, приобщиться к власти, начать творить *свой* новый мир.

Местом первоначальной пробы сил («разминки») и стал для него Петроград. «Господин улицы» не просто новый (а потому «плохой») горожанин, но человек, враждебный городу (из деревни, патриархальный,

традиционалистский), напуганный им — и взявший у него реванш. Сам Петроград как бы провоцировал его — тем, что это именно город (в европейском смысле: по организации, архитектуре, стилю и образу жизни). Занесенные сюда ветром революции солдат-крестьянин, матрос, иной пришлый элемент и преодолевали давление города, преобразовали его, делали «своим». Не случайно они действовали преимущественно в центре; рабочие окраины были им ближе, доступнее, понятнее, а значит, малоинтересны. Город их не абсорбировал — он попросту не мог переварить такую массу.

Но был и еще один момент. В народной культуре как бы воспрянуло кочевое начало. Тысячи людей оказались вне налаженной (оседлой) жизни, пустились кочевать — и раскинули свои «кочевья» (становища, «привалы») в главном городе «оседлой», европейской, то есть чуждой им, культуры, ее символе. Семечки, мусор, загаженные парки, разбитые статуи, обездвиженные трамваи — это «присвоение»/захват Петербурга/Петрограда. Об историческом значении этого захвата точно сказал Осип Манделштам: «скифский праздник на берегах Невы». Город переставал быть прежним — становился *народной* столицей, будущим Ленинградом. С этого начались процессы деевропеизации (после двух столетий европеизации) России, деурбанизации (по определению Александра Ахиезера, следствием революции стала не урбанизация деревенской России, а «деревенизация» города³²).

³² Ахиезер 1997: 554.

Повестка народной революции

В ходе одного из своих многочисленных выступлений Керенский возгласил: «Основное положение демократии — все равны»³³. Так он разъяснял смысл «Декларации прав солдата» (11 мая 1917 г.), отменившей обязательное отдание чести в армии, то есть фактически уравнявшей офицеров и солдат. Уравнение (именно уравнение, материально-имущественное и социальное, а не равенство — в правах — вместе с братством и свободой) — главное слово народной революции³⁴.

³³ Цит. по: Колоницкий 2001: 215.

³⁴ Вот что писал об этом Максим Горький: «...моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве... исходящее из дрянненькой азиатской догадки: быть ничтожным — проще, легче, безответственной» (Горький 2005: 207). Конечно, у «уравнения» была и высочайшая мотивация — потребность в социальной справедливости. Для социальности этого типа она имеет особое значение, но остается недостижимой — и теперь, спустя столетие. А тогда реализовалась через удовлетворение переделочно-уравнительных «дрянненьких» инстинктов.

NB! Февралисты выступали за правовое равенство. Но это не все. Чтобы состояться, их революция нуждалась в «общероссийском человеке» — основе демократического общества. В дофевральской России существовало огромное множество локальных (локалистских) типов; мировая война не изменила этой ситуации. Февралистская «всеобщая демократизация» создала питательную среду для формирования «всеобщего типа». Но появился он только в СССР — в виде советского человека как элемента «новой исторической общности людей».

С первых же дней Февраля обнаружился переделочно-уравнительный характер народных движений. Так, солдаты и матросы (их вооруженный, силовой элемент) выступили за уничтожение социальной иерархии (как «старорежимной») — поначалу символическое. В армии

развернулась настоящая война за отмену традиционного приветствия старших по званию (отдания чести) и ликвидацию погон, которые воспринимались как знак принадлежности к привилегированному сословию, символ власти, принуждающей к исполнению своей воли. По существу, речь шла об анархическом бунте против авторитетов — точнее, всяких отношений, основанных на авторитете и ответственности.

Февраль фактически дал старт гражданской войне, которая велась первоначально на символическом уровне — против царских орлов и орденов, офицерских погон и иных символов власти, статуса, богатства (да и просто достатка). Все это воспринималось как элементы образа врага (чрезвычайно важного для народной революции), имя которому «буржуй». Первым этапом борьбы с ним — с применением массового насилия — и была антиофицерская кампания. Например, 15 мая 1917 г. солдаты одного из пехотных полков заявили своему командиру, что единение с офицерами возможно, если те «откажутся от буржуазии и полностью перейдут на сторону пролетариата». А немногим позже офицер артиллерийского дивизиона, дислоцированного в Твери, сообщал начальству: «Война капитализму понимается как призыв к немедленному уничтожению капиталистов и буржуев, причем под этим понимаются все те, кто не в солдатской форме»³⁵. Показательно, что унтер-офицеры, произведенные в прапорщики, рассматривались нижними чинами как предатели своего «класса»: «Надел погоны офицерские, значит, проданся буржуазии»³⁶.

³⁵ *Цит. по: Коло-
ницкий 2001: 209.*

³⁶ *Там же.*

Мир без «буржуазии» (попов, помещиков и капиталистов) — вот идеал народной революции. Солдат восстал против офицера — чтобы «уравнять» его с нижними чинами (заставить «категорически присоединиться» к ним), отделить от «буржуазии». Пролетариат хотел не только восьмичасового рабочего дня, но и самоуправления, хотел получить в свои руки промышленность, установить полный контроль над предприятиями, убрать собственников, управляющих, мастеров. Крестьянство желало вытеснить из деревни помещика, а также нового (стольпинского) крестьянина — и все (землепользование, организацию) подчинить общине. А кроме того, осуществить вековую мечту: взять землю (через «черный передел» поставить окончательный заслон частной собственности), избавиться от гнета города — от власти «политического и административного чиновника», от необходимости кормить «городских».

Народная революция искала себя вовсе не в демократии в понимании Керенского. Она предполагала перестройку мира в полном соответствии со словами революционной песни: «кто был ничем, тот станет всем». Это означало тотальное поражение в правах всех бывших господ-угнетателей (то есть тех, кого революция приписала к этой категории). Иначе говоря, народная революция была антибуржуазной, несла с собой угрозу уничтожения того мира, той социальности, которую символизировал «буржуй». Однако этот мир и был миром

Февраля — публичных политиков и политики, общества и общественныхников, банков и банкиров, предпринимателей и предпринимательства, собственников и собственности, интеллектуалов, артистической богемы, культурного обывателя. Народ после Февраля нацелился не только на царя и царских чиновников, но и на тех, кто его от них освободил. Народный выбор 1917 г. — это выбор против освободителей, против свободы «по-февральски» («по-господски», «для буржуев»).

Цена революции

До Февраля культурная, образованная Россия разделилась на два лагеря: правительственный и общественный. Такая же четкая диспозиция «мы» — «они» (то есть основа для гражданской войны) сложилась после Октября. Летом же 1917 г. ситуация была смутной. Единственное, что было ясно: идет разложение. В августе 1917 г. в Петрограде на всероссийский съезд губернских комиссаров собрались представители местной власти. В газетах сообщалось, что во всех речах, прозвучавших на съезде, начиная с речи приветствовавшего съезд министра-президента Керенского и кончая речами выходцев с самых отдаленных окраин, проводилась мысль о необходимости скорейшего создания твердой государственной власти³⁷. Другими словами, февралю с мест констатировали, что страна неуправляема — установилась безвластие.

³⁷ Огонек. 1917. № 33 (5479).

³⁸ *Склонность или к безвластию/безгосударственности, или к жесткой диктатуре, отрицание частной собственности, переделные инстинкты сближали народ с большевиками. Правда, он хотел именно своей утонии — то есть того, что ему предлагали большевики, но без них.*

³⁹ См. Гайда 2003: 343—344.

На культуру «улицы» ситуация безначалия повлияла катастрофически³⁸. Вместе со старой властью, ее полицейско-карательной функцией из социальной жизни ушла тема наказания. Это автоматически снимало и проблему преступления, вины — прежде всего как проблему юридическую и полицейскую. Либералы во власти придерживались той точки зрения, что граждане свободной России должны прибегать к органам власти «лишь постольку, поскольку это требуется действительными интересами правового общежития»; в отсутствие новой правовой системы в повседневной жизни следовало руководствоваться «правом неписанным, живущим в нашем сознании, свойственным всему культурному человечеству»³⁹. Однако в сознании большинства граждан новой России жило другое право, свойственное человечеству некультурному, — обычное. Его ярчайшее проявление — самосуд. Следствием торжества обычного права стали всеобщая беззащитность и всеобщее насилие.

Насилие нечем было сдержать; поразительным образом одновременно с полицией повседневную жизнь покинула и мораль (моральные «сдержки»). Революция создала героев и вождей, но устранила моральные авторитеты. В этом смысле показательно отношение к православной Церкви и ее поведение. Там тоже действовали распадные, энтропийные тенденции: Церковь сначала поспешно и безответственно отреклась от прошлого (от царя и всего «старого режима»), а затем отстранилась от творившегося в стране, занявшись собой. (Замечу в скобках, что революционный процесс определяла тенденция к локализации:

освобожденные нации, провинции, организации, люди «побежали» от центра; социум разламывался на национальные, профессиональные и т.п. локусы.)

⁴⁰ Колоницкий
2001: 272.

Все это было, безусловно, серьезно и страшно, но напоминало дикий и жестокий праздник непослушания. Интересно, что дети, захваченные освободительным вихрем революции, активно участвовали в политических манифестациях, причем частенько требовали ликвидации «ига родителей» и на своих красных флагах писали: «Да здравствует детский социализм!»⁴⁰. В революционной России все (и «верхи», и «низы») вдруг стали вести себя как непослушные дети, оставшиеся без присмотра. Это — проявление инфантилизма, незрелости (не в смысле молодости, а в смысле недоцивилизованности) социального организма. В момент социального слома, когда социум стремительно утрачивал цивилизационную оболочку, обнажились и стали «работать» культурные дефициты. Здесь-то и крылась главная причина распада — не в психологии, а в культуре.

Революция сметала институты, административные и социальные (начиная с собственности), право, преемственность — все то, что было следствием культуры. Все формы жизни, созданные культурой в процессе долгой и затратной исторической эволюции, распались. К августу 1917 г. масштабы распада стали пугающе очевидны — к сложившейся тогда ситуации полностью подходят слова Юрия Карякина, произнесенные им в 1993 г.: «Россия, ты одурела!». «Диктатура митинга», стихия «праздника» (освобождения от обязанности трудиться, служить, исполнять, подчиняться — в отсутствие принуждения сверху), эмансипация от норм и правил (правовых, религиозных, моральных, эстетических) создавали деморализующую атмосферу. В ней терялось общество, то есть социальная база Февраля, рассыпались его структуры, устои, оно маргинализировалось.

⁴¹ *Февралисты, конечно, виноваты — в том смысле, в каком об этом сказал Бунин: «— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания! Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, — мимо него быстро шли и спорили, — горестно покачал головой: — До чего в самом деле довели, сукины дети!» (Бунин 2003: 135).*

Происходило то, о чем за 100 лет до революции предупреждал Николай Карамзин: «...В правлениях новое опасно, / А безначалие ужасно! / Как трудно общество создать! / Оно устроилось веками, / Гораздо легче разрушать / Безумцу с дерзкими руками. / Не вымышляйте новых бед: / В сем мире совершенства нет». И виновата в этом была не только новая власть («виновата» в каком-то последнем, окончательном смысле⁴¹, в том, в каком и «царизм» не был «окончательно» повинен в Феврале). Революция (как и любое событие такого масштаба) есть состояние общества, выражение его потребностей, дефицитов, фобий. Февраль создал возможность (почву) для разложения, но разлагаться-то стало само общество — так неожиданно быстро и легко, в таких грандиозных масштабах, каких никто не мог и предположить.

А большинство простого народа сразу отвергло устои прежнего порядка, бросилось в новую жизнь: без Бога, Царя и Отечества. То, как люди преобразились в «дни свободы», какие личины на себя надели, свидетельствует: они вообще — вне порядка (против традиций и модерностей,

в отрыве от любых связей — вырваны, точнее, вырвались из них), в нем не нуждаются. Они — против всяких скреп; за безвластие, безначалие, безверие, безработицу и прочее «без». Их роль — разрушительная; они маргиналы, проводники радикализации. Им органичен хаос; они идут на развал «старого мира» (им нужно, чтобы он распался, оставив после себя пустое место). И вождей себе ищут соответствующих — чтобы «узаконить» свой новый мир.

Это очень важный урок, преподанный русской революцией — и не только России. Лишь в этой атмосфере возможна была победа большевизма; он лег на разлагавшийся социальный организм. Все плоды разложения (социальные, экономические, управленческие, культурно-ментальные) стали капиталом большевистской революции.

Запрос на порядок

У революции было множество поворотных моментов, но перелом пришелся на август (в недавние еще времена, когда в России была политика, не раз говорилось о роковом значении этого месяца для страны). К августу 1917 г. отчетливо проявилась и реакция на разложение — страх и усталость от происходившего. Запрос на революцию сменился запросом на порядок. Проблема заключалась в том, как его реализовать.

Большинство исследователей полагают, что единственным спасением для Временного правительства было осуществить (перехватить) «программу» большевиков, покончить с войной — и заняться внутренними проблемами. Мне же, напротив, кажется, что война с внешним врагом работала на внутреннюю безопасность; с ней как с последней «рамкой» старого порядка была связана последняя возможность сдерживать или хотя бы оттянуть гражданскую войну. Все-таки в сознании масс еще оставалось: воюем с германцем. Да и при Керенском ей дали понятное для масс идеологическое обоснование — революционное оборончество.

Не случайно большевики, чтобы окончательно перевести «империалистическую» войну в гражданскую, подписали Брестский мир. Это легитимировало гражданскую войну: с народа убрали последние ограничители (окончательно эмансипировали от норм), вслед за Царем и Богом исчезла тема Отечества. Если бы Россия осталась в стане будущих победителей, Временное правительство удержало бы страну. Война хотя бы отчасти сдерживала внутреннюю анархию; вполне естественно, что тему порядка узурпировали военные (ее персонификатор — Лавр Корнилов). Программа «партии порядка» была проста: широка революция — надо бы сузить⁴². На необходимости ограничить (остановить) революцию «партия порядка» и раскололась — на фронтовых и тыловых.

Керенский как лидер (персонификатор) революции острее других чувствовал в запросе на порядок такую же для нее угрозу, как и в разложении. И первое, и второе были контрреволюцией. Страхом перед

⁴² Революция оказалась чрезвычайно чувствительна к корниловской угрозе. Вот что пишет об этом Бунин: «Как распоясалась деревня в прошлом [1917] году летом, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертную казнь — и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улице было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте» (Бунин 2003: 113).

«военной контрреволюцией» и объясняется в конечном счете реакция Керенского на корниловское выступление: провозглашение его мятежом («корниловщиной»), мобилизация левых сил на защиту «завоеваний революции». Реакция понятная, но совершенно безответственная: она породила новый виток социальной радикализации. Спасая свою революцию, Керенский в то же время ее губил.

Порвав с Корниловым (а тут, вопреки версии министра-председателя о заговоре против него и революции, явно намечался альянс), Керенский, по существу, показал: революция выше отечества. Связав с Корниловым угрозу революционному отечеству, он качнул весы революции в сторону внутренней войны, внутреннего врага. Очень скоро большевики обвинят Керенского в том, что он хочет сдать Петроград немцам, чтобы подавить рабоче-крестьянскую социалистическую революцию. То есть уравниют его с Корниловым: он — враг революции, враг революционного народа.

«Корниловщина» создала атмосферу настоящей контрреволюционной истерии. Она вернула в массовое сознание тему внутреннего врага, подтвердила: он не побежден. Иначе говоря, открыла дорогу к полномасштабной гражданской войне. На этом пути народная и большевистская революции, сомкнувшись, и ликвидировали результаты Февраля, покончили с Февралем.

NB! Надо сказать, что победой Октября февральская линия в русской революции не закончилась. Один мемуарист передает беседу молодых офицеров с неким пожилым господином, слышанную им в Москве после большевистского переворота: «Вы оба — монархисты, а в Феврале царский режим не защищали, — говорил он им. — А теперь пошли защищать Временное правительство от большевиков. Выходит, что *ваша борьба — это реакция „февраля“ против „октября“*. Сущность этой мысли я впоследствии слышал в Добровольческой армии. Белая борьба — это реакция „февраля“ на „октябрь“»⁴³. Представляется, что это важный контекст для понимания Гражданской войны.

⁴³ *Россия 2015: 193.*

Торжествующий большевизм

В смутной атмосфере 1917 г. победили большевики — как некая третья сила, пришедшая извне (они «воспитывались» вне России, вне легальной публичной политики — в эмиграции, ссылке, подполье; не знали русской жизни — ее устройства, достоинств, не дорожили ею). Победили потому, что легализовали распад (вписали в процессы справедливой войны со старым миром несправедливости и горя), использовали стихию народной революции. Ленинско-троцкистский большевизм дал ей язык, обещал решить ее задачи (мир — солдатам, земля — крестьянам, фабрики — рабочим), наделил ее смыслом (двигатель истории — классовая борьба, буржуазия — классовый враг), придумал для нее будущее («коммунистический рай на земле» абсолютно органичен народной утопии).

NB! Интересен путь русской революции: в Феврале победили профессиональные политики, и все социальное пространство оказалось занято политикой (всё и вся стали публичными и политичными, политика вошла в моду, даже мода политизировалась); в Октябре — профессиональные революционеры, и политика исчезла, восторжествовали идеологи и технологи подполья. Причем, став фактом социальной жизни, подполье превратилось в ЧК. Пытаясь найти корни большевистской чрезвычайщины в дореволюционном «полицейском государстве», историки — а таких большинство — ошибаются адресом. Они внутри, а не вовне.

Из всех послефевральских политиков большевики оказались наиболее созвучны революционному народу. В межреволюционные месяцы они предельно упростили, варваризировали социализм⁴⁴. Большевизм, задумывавшийся как безоговорочное отрицание всего варварского в русском, стал концентрированным выражением русского варварства. Растворение в массе, необходимое для овладения ею, привело к тому, что «почвенное» начало поглотило в большевизме начало цивилизованное, европейское. В ходе революции социалистическая идея в ее западном понимании все больше уступала место некультуренному низовому «черносотенному социализму». И его носители во главе со Иосифом Сталиным неизбежно должны были вытеснить из партии зараженную «европеизмами» прослойку (выжечь как скверну). Большевики-то и отформатировали революцию особым образом.

Во времена русской революции мир судил об этом событии по французскому примеру: рушится монархия, на ее место приходят умеренные силы, которые играли важную роль при старом режиме, их сметают крайние радикалы, террор достигает апогея (кровь, безумие, попытка перевернуть все человеческое бытие), потом Термидор и Наполеон — вот алгоритм революции. По сути, такой была и Английская революция 40-х годов XVII в. Этот опыт уверил западных интеллектуалов, что революции происходят именно так. И все, вслед за Алексисом де Токвилем, полагали, что новый порядок зреет в рамках старого, а созрев, побеждает (революции, по Карлу Марксу, — локомотивы истории).

Внешне русская революция развивалась по тому же сценарию: свержение монархии вполне умеренными, известными до революции силами, приход радикалов, террор, гражданская война, убийство монарха. Поэтому русские эмигранты (например, Милюков) и даже большевики ожидали, что в середине 1920-х годов придет Термидор; кто-то даже видел в Сталине Бонапарта. Но русский случай оказался иным.

Русская революция выпадает из общеевропейского ряда. Она была первой в череде революций «нового типа» (революций XX столетия — итальянской, немецкой, португальской, испанской и др.), направленных против современности (в том смысле, что они не открывали

⁴⁴ Федор Шалапин писал: «В большевизм влилось целиком все жуткое российской мещанство с его нетерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Пришел чеховский унтер Пришибеев с заметками о том, кто как живет, и пришел Федька-каторжник Достоевского со своим ножом. Кажется, это был генеральный смотр всем персонажам всей обличительной и сатирической русской литературы от Фонвизина до Зоценко» (Шалапин 1990: 239).

дорогу новому, но закрывали ее). Иначе говоря, если встать на точку зрения исторического прогресса (предположить, что он есть), то в 1917 г. в России случилась антипрогрессистская, реакционная революция.

Революция в ее октябрьском изводе оказалась направлена против освободительной, демократической, европейской линии русской истории (линии Февраля). Она дала пример не эмансипации индивида (хоть и кровавой), но его нового закрепощения (эксплуатации по-новому), отбросила Россию на «особый путь», на котором страна отказалась от всех достижений европейской цивилизации — семьи, частной собственности, государства, права, прав и т.д. (потом кое-что пришлось вернуть, так как без этого не может обойтись человеческое общество, но в варварском, извращенном и ограниченном виде).

Реакцией на те сложности, которые принесла в страну на рубеже XIX—XX вв. современность (социальное и культурное много- и разнообразие, свобода и правовые ограничения, неравенство и частная собственность, массовые движения и индивидуализм, тяга наций к самоопределению и демографический взрыв, выбор и выборы и т.п.), стал массовый запрос на упрощение/примитивизацию. Большевики лишь «упаковали» его в современные формы.

Библиография

Александр Иванович Гучков рассказывает: *Воспоминания председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства*. 1993. — М.: Вопросы истории.

Ахиезер А.С. 1997. *Россия: Критика исторического опыта. Т. 1: Социокультурная динамика России*. — Новосибирск: Сибирский хронограф.

Бунин И.А. 2003. *Окаянные дни*. — СПб.: Азбука-классика.

Врангель П.Н. 1991. *Записки (ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.): В 2-х кн.* Кн. 1. — М.: Менеджер; Пенза: Космос.

Гайда Ф.А. 2003. *Либеральная оппозиция на путях к власти: 1914 — весна 1917 г.* — М.: РОССПЭН.

Гиппиус З. 1999. *Дневники: В 2 т. Т. 1. Синяя книга: Петербургский дневник*. — М.: НПК «Интелвок».

Глебова И.И. 2014. Еще один камень в фундамент российской идентичности: Вспоминая «забытую войну» // *Труды по русистике: Сборник научных трудов. Вып. 5*. — М.: ИНИОН РАН. С. 329—347.

Горький М. 2005. *Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре*. — СПб.: Азбука-классика.

Дневник Л.А. Тихомирова: 1915—1917 гг. 2008. — М.: РОССПЭН.

Колоницкий Б.И. 2001. *Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 г.* — СПб.: Дмитрий Буланин.

Палеолог М. 1991. *Царская Россия накануне революции*. — М.: Политиздат.

Первое послание Ивана Грозного князю Курбскому (июль 1564 г.). 1986 // *Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI века*. — М.: Художественная литература.

Пивоваров Ю.С. 2004. Карл Шмитт: Политико-антропологический очерк // Пивоваров Ю.С. *Полная гибель всерьез*. — М.: РОССПЭН. С. 256—291.

Пивоваров Ю.С. 2015. *Русское настоящее и советское прошлое*. — М.: Центр гуманитарных инициатив; СПб.: Университетская книга.

Россия 1917 года в эго-документах: Воспоминания. 2015. — М.: РОССПЭН.

Сергеев В.М. 1999. *Демократия как переговорный процесс*. — М.: МОНФ.

Степанский А.Д., Миллер В.И. (ред.) 1996. *Февральская революция 1917 г.: Сборник документов и материалов*. — М.: Российский государственный гуманитарный университет.

Струве П.Б. 1991. Интеллигенция и революция // *Вехи. Интеллигенция в России: 1909—1910 гг.* — М.: Молодая гвардия. С. 136—152.

Шалапин Ф.И. 1990. *Маска и душа: Мои сорок лет на театрах*. — М.: Союзтеатр.

References

Akhiezer A.S. 1997. *Rossija: Kritika istoricheskogo opyta. T. 1: Socio-kul'turnaja dinamika Rossii*. — Novosibirsk: Sibirskij hronograf.

Aleksandr Ivanovich Guchkov rasskazyvaet: Vospominanija predsedatelja Gosudarstvennoj Dumy i voennogo ministra Vremennogo pravitel'stva. 1993. — М.: Voprosy istorii.

Bunin I.A. 2003. *Okajannye dni*. — SPb.: Azbuka-klassika.

Chaliapin F.I. 1990. *Maska i dusha: Moi sorok let na teatrah*. — М.: Sojuzteatr.

Dnevnik L.A. Tihomirova: 1915—1917 gg. 2008. — М.: ROSSPEN.

Gaida F.A. 2003. *Liberal'naja oppozicija na putjah k vlasti: 1914 — vesna 1917 g.* — М.: ROSSPEN.

Gippius Z. 1999. *Dnevniki: V 2 t. T. 1. Sinjaja kniga: Peterburgskij dnevnik*. — М.: NPK «Intelvok».

Glebova I.I. 2014. Eshhe odin kamen' v fundament rossijskoj identichnosti: Vspominaja «zabytiju vojnu» // *Trudy po rossiavedeniju: Sbornik nauchnyh trudov*. Вып. 5. — М.: INION RAN. С. 329—347.

Gorky M. 2005. *Nesvoevremennye mysli: Zametki o revoljucii i kul'ture*. — SPb.: Azbuka-klassika.

Kolonitsky B.I. 2001. *Simvoly vlasti i bor'ba za vlast': K izucheniju politicheskoy kul'tury rossijskoj revoljucii 1917 g.* — SPb.: Dmitrij Bulanin.

Paleolog M. 1991. *Tsarskaja Rossija nakanune revoljucii*. — М.: Politizdat.

Pervoe poslanie Ivana Groznogo knjazju Kurbskomu (ijul' 1564 g.). 1986 // *Pamjatniki literatury Drevnej Rusi: Vtoraja polovina XVI veka*. — М.: Hudozhestvennaja literatura.

Pivovarov Ju.S. 2004. Karl Schmitt: Politiko-antropologicheskij ocherk // Pivovarov Ju.S. *Polnaja gibel' vser'ez*. — M.: ROSSPEN. S. 256—291.

Pivovarov Ju.S. 2015. *Russkoe nastojashhee i sovetskoe proshloe*. — M.: Centr gumanitarnyh iniciativ; SPb.: Universitetskaja kniga.

Rossija 1917 goda v ego-dokumentah: Vospominanija. 2015. — M.: ROSSPEN.

Sergeev V.M. 1999. *Demokratija kak peregovornyj process*. — M.: MONF.

Stepansky A.D., Miller V.I. (eds.) 1996. *Fevral'skaja revoljucija 1917 g.: Sbornik dokumentov i materialov*. — M.: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet.

Struve P.B. 1991. *Intelligencija i revoljucija // Vehi. Intelligencija v Rossii: 1909—1910 gg.* — M.: Molodaja gvardija. S. 136—152.

Wrangel P.N. 1991. *Zapiski (nojabr' 1916 g. — nojabr' 1920 g.): V 2-h kn.* Kn. 1. — M.: Manager; Penza: Kosmos.